

РГ 1083677

ИВАН ЕВДОКИМОВ
ПРОСЁЛКИ

РАССКАЗЫ



■ ■ ■

БИБЛИОТЕКА
„ОГОНЕК“

№ 208

АКЦ. ИЗД. О-ВО
„ОГОНЕК“
МОСКВА-1926

<p>А. БРАГИН А ВСЕ ТАКИ ЗАВЕРШИМ</p> 	<p>БОР ПИЛЫЯК МЕТЕЛЬ</p> 	<p>А. СИРКОВИЯ СИМОЧКА</p> 	<p>ВЕНЕСТОУР ШТУРМ ГОЛОДА</p> 
<p>ГЕРБЕРТ УОЛД В МОРЯХ АДАМА</p> 	<p>Г. Х. АНДЕРСЕН ТЕНЬ</p> 	<p>Д. СЕМЕНОВСКИЙ ПО СЛЕДАМ МЯТЕЖА</p> 	<p>ОКТАВ ЧИРД СЫН ЗЕМЛИ</p> 
<p>ВЖЕК ЛОНДОН ВСТРЕЧА</p> 	<p>С ОБРАДОВИЧ ВЗГЛЯДЫ</p> 	<p>А. МАЛЬШИКИН НОЧЬ ПОД КРИВЫМ РОГОМ</p> 	<p>В. ПРАВДУХИ ФАЗАНЫ</p> 
<p>АНАТОЛИЙ МАРИКОПФ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ</p> 	<p>ВЛ. БОНЧ-БРУЕВИЧ НЕДАВНЕЕ</p> 	<p>А. П. ЧЕХОВ ВЕЛОСКОПИЧЕСКОГО БАНКА</p> 	<p>ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ РАССКАЗЫ</p> 

ИВАН ЕВДОКИМОВ

Р А С С К А З Ы

К 1-1083677

ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина

Акц. Изд. О-во «ОГОНЁК»
Москва.—1926

Отпечатано
в Типо-лит. Акц. Изд. О-ва
„ОГОНЕК“. Москва,
Сретенка, Последний пер., д. 26
Тираж 13.000
Главлит № 73118

ВОРЫ 12-ГО ПОЛКА

В двенадцатом полку был вор. Долго этого вора не могли поймать. Подозревали взводного Крохоборова. Подозревали потому, что был жаден пепасытной бережливостью взводный. Драл он со своего взвода после фельдфебеля за каждую солдатскую провинность, драл он, хватая из рук копейки, табак, деревенские гостилицы. Был у него в взводе скуповатый и малопонятливый рядовой Курицын. Скопил он тридцать рублей, подшил их за гашник, выстелив холстину серебряными рублями. Серебряный пояс охватывал ядреное брюхо Курицына,—и отпечатывались на перетяжке по телу рублевые кругляшки. Курицын был ряб и шершав, как засиженный диван в прихожей. Широкоскулый, широкозадый, с широко расставленными дырями ноздрей, а глаза у него были будто два черных ярушечных катышка, Курицын ощупывал па дно сто раз свой гашник и обводил по нему испуганными пальцами, поддергивал штаны и жевал губой.

— Вицей много: чешешься? — фыркал Крохоборов. — Не шевели зря амуницию!

— Эй, Курицын, скупердай, — покрикивал другой раз взводный. — Девки тебя любят?

Полочка губы отваливалась кипазу и текла по ней слюна.

— Ги! Ги!

— А ты их?

— И я их! — гоготал Курицын.

— Гони на полбутылки: по военной словесности запрещено солдату жениться без разрешения начальства. Сознался! Давай семитки!

— Так я ж не жанюсь? — пугался Курицын.

— Опосля женившись: это все одинаково! Вылущивай, вылущивай монетки!

— Господин взводный, — краснел Курицын, — мы недостаточные... Телушку ~~и~~ тятя в деревне заводит: ему рупы послали мы.

— А другой где рупы?

— Какой рупы? — дрожал Курицын, хватаясь за гашник.

— Не трепись треплом; до-ста-а-ну я у тебя тепленькие.

В марте 1917 года двенадцатый полк завел первые красные знамена. И тут, в общей заварухе, проснулся раз утром Курицын, штаны схватил, а штаны полегчали. Гашник был вспорот. Крича и плача Курицын в портках понес перед собой обнищавшие штаны, показывал, жаловался, облапил сзади Крохоборова и на всю роту вопил:

— Отдавай деньги! Отдавай деньги!

Крохоборов скидывал его с себя, отказывался, а товарищи шарили у него в карманах, за пазухой. Потом раздели до нага, малость побили, растрясли койку, сундучок... И был назначен над Крохоборовым товарищеский суд. В полковой канцелярии собрались представители роты — и суд открылся. Перво на перво решили посечь Крохоборова, но тут писарек, много раз сеченный в старорежимные времена, сказал:

— Республиканское отечество наше освободило заднюю часть человека от всяких наказаний, хошь бы она и была воровская...

Потом решили расстрелять, но тут вмешался Курицын:

— Какой мне роцет в расстреле? Мне тогда и денег своих не получится! Мне деньги пускай отдаст!

Писарек обрадовался и сказал:

— Чудак человек, может, приспичит как ружьями, он и выложит? Пугнуть надо! Огдашь, ежели пугнем?

Крохоборов стоял тут же.

— Не отдашь! Нету у меня! Не брал я евонных рублей!

— Пустяки говорит, — отвесил важно председатель. — Больше не у кэво быть деньгам, как у ево. Я смекаю — расстрелять надо за старое за новое. С испугу он откроет воровство. Деньги хозяину. А ево все равно разложить после; не уноси адрест на тот свет. Поднимай еще раз руки! Только по одной руке поднимай. А то давеча нащпал у десятерых двадцать голосов да свои два голоса как приidgesателя.

— Постой, постой, — заторопился Крохоборов, — я вот прилагаю такое...

Председатель весело перебил:

— Что испужался быдто?

Крохоборов не слушал:

— Пускай я остаюсь в ворах. Глаза мои людям в глаза смотреть станут по совести, как я не вор в своих внутренних чувствах. Ренять меня жизни нечего. Я бумагу выдам товарищу Курицыну, чтобы отдавать ему помаленьку весь долг. Пускай, ненасытный подлец, разживается, как церковной староста на чужих кровях.

Курицын запрыгал на месте и закричал:

— Личность, личность мою вор поносит, братцы! Сам вор, а других подлецами! А что касается денег, то я поднимают

руку за приложение вора. Конечно, чтобы панерную отдавал под поручительство полка. В строк ежели не выплатит какую толику—к расстрелу сразу и поведем. Тоды выучим взводново!

Председатель и писарек вскочили из-за стола,—и председатель зло и резко сказал Курицыну.

— За такое выступление несознательности, тебя, сукина сына, самово надо вверх днинцем. Отмняю постановление по расстрелу товарища Крохоборова!

А писарек сердито в'елся тихим голоском:

— Я инакую мысль имею. Товарищ Курицын об'явил себя самым что ни на есть егопстом. За деньги иродас свою брата, как непотребную ему и старую одежду. Он проигрывает следственно расстрельный кон. Оставляем жизнь Крохоборову. Тово пуще с деньгам. Усомневаюсь я в краже. Вишоват он ясно и без доказательства, как ни на ково другово рюта не думает. Ежли платить деньги товарищу Курицыну, не было б ошибки? В наказанье же худому нашему товарищу Крохоборову ировести его по всем ротам вором.

Суд зашумел. Закачались столы, заерзали стулья...

— А верно ведь, братцы!

— Здорово!

— Принимать! Принимать!

— Всем, до единого голоса!

Только один Курицын кричал:

— Шлакали мои денежки! Трудовые! Накопленные! Недоденные. Товарищи, братцы! К расстрелу бы тоды? Лучше бы к расстрелу? Ему одна потеха тако наказанье! Эт не-ж-то суд?

Крохоборова, опустившего низко и горько голову, подвели к председателю. Тот серьезно и грустно взял мел и написал крупно и жирно на груди и на спине:

„ВОР 12-го ПОЛКА“.

И Крохоборова толкнули вперед.

Вводя в роты, председатель громко провозглашал:

— Вот, товарищи, вор 12-го полка.

Роты застыли и молчали. Крохоборов вынес только три роты. В четвертой роте он остановился и, отчаянно, как прокололи его насквозь, зарыдал:

— Вешайте меня! На куски рубите! Не пойду!

И он, будто кипяток клокотал под одеждой, бешено скинул с себя пиджак и бросил ее на пол, сорвал курточку, рубаху. Белое, нагое тело мелко и часто дрожало.

— А не будешь воровать?—сказал председатель.

— Я не вор, я не вор!—плакал Крохоборов.—Убейте меня! Не пойду дальше! Ошибка, товарищи!

И Крохоборов, взрыдав еще раз, бросился бежать.

Через три недели Курицын нашел вора. Принес он на почту с письмом тяте на деревню о беде своей, а писарек деньги подает в окошечко по переводу. Подглядел он, как выкладывал писарек белые рубли и выложил тридцать кружечков. Схватил он писарька за пиворот и крикнул:

— Созна-а-вайся, бумага?

Писарек просмеялся, проблеял жалобно, отодвинул рукавом серебро в сторонку, другой человек уже подавал в окошечко свой перевод—и молча со счетом передал рубли Курицыну. Они вместе пошли.

— Бабе... на обзаведенье... в деревню послать хотел,— лепетал писарек, попрыгивая около Курицына. — А ты и пакрыл! Прости ты меня, добрый товарищ Курицын! Ухорони от товарищей вину мою! Сдохла у меня лошадь в хозяйстве. Зарез мне пришел.

Курицын молчал. Потом вдруг остановился и остановил писарька. Курицын подумал, огляделся по сторонам, замахнулся и сказал:

— А я должен тебе дать в ухо за все?

Писарек обрадовался:

— Да дай, да дай мне, животине!

Курицын, прикусив губу, тяжко хлоннул его кулаком, спиб с ног и застутил на земле саногом, ворча и скрежеща зубами. Начал останавливаться народ, но писарек уже вскочил и недовольно забормотал:

— Проходи, проходи, ротозеи! Мы это по-свойски! По разику ходили! Я его допреж того долбанул... в самое сердце... Он мне теперешний раз в отдачу.

Они вместе залпали в чайную и Курицын угощал писарька с находкой из белого чайника денатуратом.

Снова собрался товарищеский суд двенадцатого полка. Молча, тихо, не шевелясь, сидели те же судьи в иполковой капеллярии: поджидали Крохоборова. Писарек вертелся около Курицына, и что-то напечатывал ему на ухо. А тот не спеша и рассеянно жевал хлеб, отламывая маленькими кусочками от черствой корки. Когда вошел Крохоборов, председатель поднялся и сказал:

— Извини нас, товарищ Крохоборов, а этого гадюку...

И он тишина пальцем, будто стальным почерневшим штыком на писарька, а в другой руке протянул Крохоборову револьвер.

— Погоди, убей его...

Председатель оглянулся на товарищев и вскрикнул:

— Ладно я говорю, ребята?

Судьи молча кивнули головами.

— Да! — добавил председатель.

Писарек обмер и приложил маленькую руку на горло себе...

Курицын втянулся в плечи, пугливо отходя от писарька. Кролоборов шатнулся, вдруг вскинул и в ярости, вырвав у председателя револьвер, нальнул раз-другой в писарька. Тот лег бездыханным на черный пол.

С Курицына присудили десять рублей бабе писарька на сдохшую лошадь.

А Н Н У Ш К А

Аннушка Оглыдкова была веселая и разбитная бабенка. И шла худая слава о веселом человеке сперва в деревне, потом в городке. А в городок она пришла по бедности. Мужик у нее плотничал, оборвался со сруба и захромал на обе ноги. От недуга посадил его подрядчик на земляную теску дерева, не везде годен — и цепа другая. Из первой руки в третью угодил Петруха Оглыдков по сниженью здоровья. Аннушка в город потекла в прислужницы.

Вдвоем с трудом вырабатывали на крестьянство, на ребятишек с бабкой да с дедком. Хозяйство оставлять деревенскому мужику тяжелее, чем из деревни на заработки уходить.

Хохочет Аннушка, полощет зубы, не стесняется озорного слова, будто девка, с парнями в пляс, в крик, в шум. И пет будто в деревне Большие Кочки и в ближних селах ни одного человека, с кем бы Аннушка обопласлась суровее милого дружка Петрухи. Говорить и стали о ребятинах: один от Петрухи, другой от Ваньки, третий от церковного старосты Евстигнея. И про тех слава идет. Бабы им в волосы. Отказываются — и хохочут. Баб своих к себе пуще привлекают. Почтено линнее женское сердце привязать: баба своя любить большие станет.

— Полохалы вы, — смеется Аннушка бабам. — Да я разве свою Петруху на ваших лошадей променяю? Он у меня

хроменькой, а любой! Слава мне пустяки. Не оставилши меня, когда душа у меня чище хрусталию, из снежинок она чистых, а зубы у меня, веселые. Вот и все. И большие ничего!

Пойдет Аппушка по деревне легкой своей, каблучками настукивает, походкой, сарафан из озорства подбирает выше, чем поднимают.

— Ей, Евстигней ротозей! — кричит — дразнит. — Держи бабу на возже! Дитеи у меня твоих отбирает! Своих недостача? Пятерых мало? Ей, Ванька-встанька! Давно мы с тобой в лужках кислицы не собирали?

— Поги ты, вертуныя! — смеются Евстигней с Ванькой. — Не кипяти здря баб! Ума у них меньше твово. Тяпешь себе на голову мерёжу. Шути — шути — и пашутинься на свою голову.

И так это ласково, обоядно грохочут на улице у телег, у апдрецов, у кос, завидуют Петрухе на радостную его бабу.

Не любят бабы Больших Кочек Аннушку, зовут пусто-смеликой и боятся, распускают про нее были-небылицы, остерегают мужей.

В городку переходила Аннушка от одного хозяина к другому; милое круглое лицо в ямочках было не по сердцу желтым и белым хозяйкиным лицам, смелая прислужница не люба — и стоят за нее горой хозяева. Отказывают хозяйки. А в другом месте засмеет лукавым смехом хозяина, он глязищи вынятит да и шастает к ней ночью. Встретит она его ухватом или скалкой, перебудит весь дом. На утро расчет от мужиных каверз. Городишко маленький. В одном конце крикнут, в другом отдастся. Большие Кочки

в двадцати верстах. С субботы на воскресенье кобылкой трусила Аппушка к ребятишкам. Выходной день завелся от советской власти во всех городках. Нарушили бы да надсмотрщики верные. Пользы от них другой мало, выходной день блюли. Перенюхала весь городок. Не умела переменить привычки к балагурству и к завлеканию человеков.

— Ты бы, Аппушка, потише,—говорил Петруха—я то не усумлюсь... А вред большой—язык твой. Што язык, што волос!

И расславили Аппушку по городку, как и в Вольных Кочках. Не берут в дома. Другие города далеко и не сподручно от ребят оторваться: для них только вострглазых и жизни!

В одном скучельном домике жили три старые девы, пять кошек, шесть кобелей, компатный индюк, гусь и еж. И те наслышаны про Аппушку. Безопасный дом, а привередливый. Старые девы в училищах учителяствуют. Идут с занятий мимо лавочки, брюками торгуют, выставлены за стеклышками фасонные брюки, краснеют и отворачиваются от мужского облазу. А за скотом ходить некому. Они Аппушке не вондря, а и говорят:

— Принеси удостоверение из деревни. И мы спокойны, и город перестанет судачить, и скот наш будет обласкан. Бегут от нас прислужницы. Не любят бедных итичек, кобельков и конечек. Тебе деваться некуда. Все дома на запоре. А мы возьмем на испытание.

И старые девы ласково обстушили Аппушку. И стояла она промеж них, черных, испитых, жухлых, будто маленький кустик шиповника.

— Принесу,—просмеялась Аниушка.—И о здоровье своем принесу, ежели брезгаете!

— Нет,—говорят,—о здоровье не надо! Здоровье само за себя рапортует. Щека-то, щека-то какая розовеющая! Бока-то какие налитущие!

Старые девы, как курицу, выщупали Аниушку. Она от щекотки зашлась хохотом,—и зазвонило в старых часах в скучельном доме само собой, кобельки залаяли, индюк затрепыхал красной кистью под губой.

Аниушка прискакала в деревню Большие Кочки к сельскому исполнителю Семену Огневу за пужной бумажкой. Тот бороду закрыл ланой и головой качает.

— По какому такому случаю дам я бумагу неправильную?

— Как неправильную?

— А так. С Евстигием жила? С Ванькой жила? Еще с кем, дай припомнить!

— Да к ты что головой треснул? Бабы подолы нюхает?

— Не жила скажешь с пономарем? Похвальялся он тут в Покров. В городу сколько мужей оставила?

— Ты при свидетелях не отопрешься!—рассерчала Аниушка.—Слова эти сказать?

Семен Огнев рассмеялся.

— Отопрусь. Я не дохтур, с кем ты там кувыркалась узинавать! Бумаги же не будет. Не уверен я в своей власти выдавать напраслины.

— Такой стенинnyй мужик ты, Семен!—задумчиво и горько ответила Аниушка.—Свой деревенский, а дурак вилейской-пареной!

— А ты таскунка!

Аннушка даже всплакнула, а Семен Огнев ей на поход:

— Ваня сестра завсегда оплакивают блуд. Не уберегут стыд, опосля волосья длинные вытаскивают — конской хвост!

Ходила—ходила Аннушка: ни в какую. Семен Огнев как отвод—скрипит на ветру, а не отворяется, не мычит—но теплится.

Аннушка на обман. Разожгла мужика. Пододвинулась к мохнатому уху раз, прихватила зубками жирную волосатую мочку, мужику не повернуться, обвила шею и в глаза глядит.

— Ну, чево там?—скраснел довольный мужик.—Какая у тебя дьявольщина на уме? Выкладай!

— Люб ты мне за крепость; Семен!—шепчет Аннушка.—Нолонил меня! Обижаешь, а мне хоть побои от тебя! Первого мужика такого встречаю. Всё я была наверху, а теперь я под тобой. Слюбимся?

Семен Огнев боязливо и трусливо поглядел на двери из избы. Охватил ее за спину и бормочет:

— Краля, кто бы не вошел?

— Ты постой,—отвела Аннушка тяжелую руку,—не так скоро! Приходи полночью ко мне в сеновал. Сёмушка, только напиши бумажку! Есть нам становится нечего: без места нам не обойтись! По праздникам и будем миловаться. Без зову и ходи в сеновалчик. Твое же хозяйство не хочу зорить. Не приму от тебя никаких подарков. Любовь моя чистая и первая к такому покорителю моему!

— От ты какая замысловатая, Аннушка!—удивился Семен Огнев.

Аннушка влипла ему в губы, давиула их и оторвала.

— Будто спичка черкнула!—подобрел мужик,—искорки высекла! Чудно—хорошо!

Прощаясь у дверей, Аниушка ласкалась к нему:

— Первой и единственной от тебя подарочек-бумажка и будет! И принеси ее в первый раз любви! Бумажка то мне и детям—хлеб! Подарка дороже нет!

— Принесу,—отшептывал Семен Огнев.—Беспременно буду в сеновалчике. Закружила ты меня, будто Евстигней. Волос ростет в мозгу. Не вижу ничего, кроме похоти! Ядруньюшка моя! Да уж не подкинули ли тебя к тусклым нашим бабам на деревню в Большие Кочки? Липка!

— Погоди, то ли будет!—ожгла и убежала.

Семен Огнев долго писал бумажку: не выходило. Он жалел бумагу. На маленьком лоскуточке он применялся и вкривь и вкось, укладывая смысл. Вспотелый, умученный, паконец, он задумался, натёр печать о сажу в устье иечки и переписал составленное им на другой чистый лоскуток.

Задами прокрался Семен к Аниушкуну сеновалу и нес в зажатой руке подарок.

— Сёмушка, это ты?— позвала Аниушка, как дотронулся он до ворот.—Эду, бородка моя кужлявенька!

Семен Огнев юркнул между полотниц и попятился взад.

Аниушка сидела на сене. Рядом с ней стоял фонарь с бараным светцом—к коровам на назём ходить.

— Для ча фонарь?—испугался он.

Аниушка засмеялась.

— А не для ча! А для того, чтобы нагрянет кто, вон и пестерек принесла, было похоже—за сеном пришла. Тебе же в любом месте в сене укрышка...

— Умничко - то, умничко какой! — воскликнул Семен Огнев, валя бабу на сено.

— Жди, жди, — ласково посторонилась Аннушка. — Первона-перво испытание тебе: сдержал ли слово обещанное?

— На, на, моя красавушка, да я тебе всю карнцелярию мою выдам за один обним!

Семен Огнев сунул ей бумажку за пазуху и захватил крепко грудь.

— Не все, не все, — веселилась Аннушка, — мы падолго связываем себе руки и ноги. Проверить любовь твою надо. Мало снег в школу мяла, а осилю твое письмечко. Вглядусь в него вкрадчивыми глазоньками.

Аннушка внимательно читала, шепчà себе слова. Семен Огнев приткнулся к ней, гладил плотно сжатые ноги и расстяжал и воровато расстегивал жаркий пиджак.

— Буква эта „ы“, а это „мы“? — говорила Аннушка. — Так, так! Дело! Хорошо написал!

Аннушка засунула глубоко смятую бумажку за пазуху, вскочила на ноги и описала фонарем дугу над головой Семена Огнева. И звонко, как ударили в сторожевой деревенским противень, лязгнула:

— А теперь, Петруха, выходи!

Семен Огнев опрокинул сено и пополз. Петруха Оглядков быстро вылез из угла, встряхнулся от сена и загрозил:

— Мы, Семен Иванович, по плотницкой части к топорику привычны! К-а-к вот тюкну тебя по глупейшей башке за измывательство над бабой! Становись во фронт, обдураченный бык!

Петруха, иод хохот Аннушки, наступал на Семена Огнева с топором, прихрамывая и раскачиваясь.

Семен Иванович, кидаясь к воротам, отворил их головой и застучал по молчаливой земле сапожищами.

Петруха выковылял за ним, загремел обухом по железной накладке запора и закричал в догонку, колебля, как тонкую наволоку, мглу:

— Руки обрублю напрочь! На мясо положу! Держи—и—держи—и его!

Семён Огнев упрыгнул. Оглядковы дружно и нежно обнялись, смеясь, посидели в сеновале у тихого фонаря, прочитали заново дорогую бумажку, а потом Аннушка устало зазевала. И зевая, а он ее подталкивал в бок, долго тянула:

— Петруша, не к спанью ли час?

И потушила фонарь, опрокинув его и мотнув.

Провожал Петруха Аннушку в город, неся за поясом топор и взвалив на спину мешок с вещицами.

Старые девы прияли озорную прислужницу. В скудельном домике долго хранилось каракульное удостоверение с черной печатью:

„Пастоящие удостоверение дано гражданике деревни Больших Кочек Аннушке Оглядковой о том, что она до пастоящие поры, так и в настоящие осень, живет с мужем и никаким пустякам не занимаетца, что и удостоверивает сель-исполнитель деревни Больших Кочек

Семен Огнев“.

1083677

БИБЛИОТЕКА
области
им. Н. В. Бабушкина

КИНОС'ЕМЩИКИ.

Милиционер Пучков стоял на посту против банка. Пригнали раз в самый банковский разгар около двух часов дня три автомобиля. Два встали у самого входа, а третий по другой стороне улицы. Была на нем какая-то машина, вроде фонаря с ручкой. Покуда вылезали человек десять с двух автомобилей, выскоцил от фонаря маленький юркий человечек, подбежал к Пучкову, сунул ему бумагу и сказал:

— Товарищ милиционер, вот вам отношение из Госкино. Нам необходимо произвести кинос'емку. Для вас будет много неожиданного. Не смущайтесь! Так нужно по программе. Будут бегать люди. Будут выстрелы. Крики. Так пожалуйста, вы не допускайте близко публику, чтобы кто-нибудь не пострадал! Отношение сохраните у себя для отчета по начальству.

Пучков начал просить прохожих:

— Граждане, не толпиться на панелях! Проходите! Будет стрельба! Снимка для кино. Не переходить, не переходить дорогу! Дядюшка, дядюшка, обратно, друг. Обожди! Эй! Папиросяница, куда? Патент есть?

— Начина-а-ем! — крикнул юркий человечек, подсел к фонарю, завертел ручку и махнул рукой к подъезду.

Туда вошли приехавшие на автомобилях и прикрыли дверь. И сразу загудела тревожная сигнализация из банка.

— Весело! Весело! — кричал кинос'емщик, накручивая ручку.

Пучков осаживал публику.

— Да нарочно, нарочно для съемки тревога! Трусите, трусите, граждане! То ли еще произойдет! Может и ранить! Ходи, ходи, товарищ женщина. В Кализее гляди потом. Чево задарма глядеть!

Огромное зеркальное окно вдруг рухнуло с третьего этажа, засыпая зеленоватой стеклянной крупой мостовую. Будто свалилась с крыши весенняя сосулька и уложила землю мелкими ледяшками. В пролом выкинулся до пояса перепуганный человек и взревел один раз:

— Гра-а-а-бят!

Его кто-то вдернул обратно. И пальнули раз — другой глухие револьверные рывки.

Киносъемщик засмеялся.

— Натурально! — воскликнул Пучков. — Стекло в театре окупится!

— С лихвой! Десять тысяч ассигновано Госкино па эту съемку! Отойдите, товарищ, подальше! Вы закрываете мне поле действия. Я вас уже заснял. Не подпускайте, пе подпускайте публику! Какое глупое любопытство! Люди работают, они тут развлекают, снуют!..

— Честью говори, не понимают! — кричал Пучков. — Ругаться начинешь — оскорблениe личности! Проваливайтe, проваливайтe!

Пучков поворачивал извозчиков, ломовиков, автомобили, осаживал густо набиравшуюся публику. Шофферы сидели с трубочками и держались за рули.

В банке была тишина. Киносъемщик придержал ручку. Сигнализация смолкла.

Немного погодя из банка начали выносить какие-то не-

большие мешочки и кидали в кузова автомобилей. Киносъемщик опять весело застремотал ручкой.

— Очистите дорогу! — кричал он милиционеру. — Скоро поедем! Надо торопиться к другому банку!

Пучков послушно и суетливо делал проход в публике.

— Шире, шире! На себя судачьте — задавят! У них машина заряжена на время! Может остынуть. Погонят!

И вслед за этим из подъезда выскоцил знакомый кассир с разорванной манишкой, в красных чернилах на щеке, с портфелем...

— Пучков! — рявкнул он.

Его схватили выбежавшие за ним люди, закутали голову черным платком, смяли на панели и втащили назад. За толстым портфелем, упавшим на панель, выпрыгнул один шоффер и лениво швырнул его на подушки.

— Это номерок! Это номерок! — веселился киносъемщик, звякая ручкой.

— Ка-ак кассир-то взревел? Што те ахтер! — шутил Пучков. — А я и не знал — будет представление!

— Да, — радостно отвечал киносъемщик, — эта фильма будет иметь успех. Ребята очень сыгрались. Настоящее ограбление банка.

— Кассир-то и морду в чернила выкрасил! — ойкиул Пучков.

— Нельзя иначе! Мы должны дать вполне реальную обстановку. Здесь наружный вид ограбления. В другом районе работают киносъемщики внутри. Отсюда поедем ставить сцену после ограбления.

Публика все накапливалась и накапливалась. Пучков торкался, торкался в стороны, серчал и не мог справиться.

Тогда кинос'емщик, поворачивая фонарь на публику, закричал:

— Товарищи, я прошу вас отойти на тот уголок. За одио я вас всех сниму. Вблизи нельзя угадать правильный фокус. Снимок будет валиться. Пожалуйста!

Народ загоготал, опрокинулся назад, побежал, кинос'емщик заторопился с ручкой.

Пучков легко отгонял немногих оставшихся. Вертлявый человек вытирая пот со лба.

В разбитом окошке показались двое из приехавших и гаркнули вниз:

— Готово! Сейчас выходим. Снимай последний выход!

— Даешь! — ответил кинос'емщик.

— О, здорово! — шумел улыбавшийся Пучков. — Как по расписанию поезда!

— Да! Фильма заряжена на определенный отрезок времени. Один оборот ручки нельзя повернуть зря! Мыла кусок, три копейки бруск!

И они дружественно засмеялись.

Народ опять торопливо подвигался к фонарю. Тут, не спеша, вышли с портфелями товарищи кинос'емщика, уселись в автомобили, один повернул на дверях плакат с надписью „Банк закрыт“, юркий человек разок подребезжал ручкой, накинул на аппарат тугой черный футляр, накинул на обшлаг Пучкову белый конвертик — и машины кипулись гуськом, заиграв на рожках тревогу.

— Будем знакомы! — выкрикнул человек у фонаря. — Берегите билеты в кино!

Автомобили ушли. Покружила пыль, будто сейчас тут выбивали ковры, и стала садиться. Народ расходился...

Пучков вытащил с улыбкой из-за обшлага конвертик — и обомлел. В конверте была пачка червоицев. Он перемусялял пачку и насчитал двадцать красноглазых белячков. И еще больше повеселел Пучков. Он спрятал деньги в карман и сладко задумался на дороге.

Тогда один — другой, крадучись, начали выглядывать люди из пустого окна.

— Окончено все: уехали! — махнул Пучков.

Банк ожил. С грохотом отбросилась дверь входа и, галдя, и крича, посыпал народ.

— Где? Куда? Что? Милицию! Чека!

Пучков, похочатывая, ходил против банка.

— Дурак! Идиот! — вопил народ, показывая на Пучкова. — Налетчики! Бандиты! Убийство!

Его потащили внутрь. В вестибюле он увидел, как перерезали ножницами веревки на двух связанных милиционерах, и около них валялись тряпки, вынутые из рта. А рядом лежал и кровоточил щекой кассир. Он был без памяти, бледен и неподвижен.

— Доктора! Доктора! Директора убили.

— Он выбил окно!

— Наловал!

Тут только Пучков будто понял. Опустив глаза, изруганный, издерганный, суж всем бумагу из Госкино, не веря, он метнулся, скака через ступени, наверх, осел около убитого директора, поднятого на прилавочек к решетчатой кассе — и заплакал над собой.

Долго допрашивали Пучкова, сажали в тюрьму — и обманутый снигирь записался безработным на бирже.

А деньги он утаил, зарыв в цветочный горшок с ловялой

фуксией, выкинутый соседями за ненадобностью в темный коридор за сундук и там забытый.

Трудные безхлебные дни пришли скоро. Вынул он из укромного места первый червонец и подал своей бабе. А та скоро прибежала испуганная и горестная:

— Васенька! Червонец-то фальшивой! Не берут нигде! Смеются! В одном местечке погрозили!

Испробовали в разных местах червонцы. Ездил Пучков из одного района в другой и менял. Баба промышляла по мелким торговкам на толчках.

Спустили пять червонцев. И невдомек было: поизали по пятам за ними агенты Мура. На шестом разменном червонце Пучкова взяли, унесли горшок с остальным фальшивым добром,—и сел снегирь на казенное довольствие в губтюто.

ВЫДАЛИ

В народном суде под красным обтрепанным сукном стоял ветхий стол. За столом сидел старый судья, а по бокам громдились в шинелях два красноармейца — народные заседатели. Один красноармеец часто и беспокойно обращался к судье с одними и теми же словами:

— Дозвольте задать вопрос?

И грузно поднимаясь, качая егозливо стол, становился во фронт. Судья тащил его за рукав и усаживал. И красному ему что-то шептал на ухо. На скамьях будущие обвиняемые, свидетели, любопытные ласково усмехались. Солдат спрашивал уже сидя, но он скоро забывал свое важное сидячее звание и по привычке опять вставал. И от того, что солдат был забывчив, в народном суде было просто, легко, семейно. Будто собирались в густую люди потолковать о каком-то неспорном и тихом домашнем деле, заговорились, вечер погасил свет в окнах, и уже желтый огонь под столком загорелся в пыльном стеклянном яйце.

Судья устало облокотился на стол. Перед ним стояли близко друг к другу деревенские парень, девушка и мальчионка.

Судья допрашивал мальчика.

— Вы знаете, гражданин-свидетель, Пыжова?

Мальчик ухмыльнулся и фыркнул.

— А как же не знать? Знаю. Соседи будем. Мы Никитины, а оне Пыжовы. Крестной он мне!

И вдруг мальчик боязливо и тревожно воскликнул:

— А тебе на што?

Судья закрыл ладонью глаза и трудно сказал дальше:

— Видели вы Пыжова в день преступления?

Никитин молчал, опуская голову.

— Вы понимаете вопрос?

Мальчик обиженно встряхнул лохматыми волосами и засмеялся.

— А чево не понимать-то? Нешто я дурак? Вестимо видел, коли застал с Машкой.

Пыжов стоял красный, уставившись на темневшую бахрому сукна. Он только вздыхал и вслушивался в голоса. Машка сердито косилась на него.

— Вы расскажите нам, как было дело, — не торопился судья, не спеша разглядывая перед собой истасканные, грязные от клякс и каракуль бумаги.

Мальчик сглянулся на скамейки:

— Зазорно больно рассказывать-то! Народищу сколько! Вытурить бы к чорту! Чево пришли на посмешище? Им в забаву, а нам — срам.

— Гражданин-свидетель, — онять из-под ладони протянул, будто сердясь, судья и удержал за обшлаг солдата, пороввившего встать, — рассказывайте нам, не стесняясь ничего, всю правду.

— Мне што, — серьезно пробурчал мальчик, — не я испортил Машку, а Стенка. Врать мне не пошто, а только нехорошо перед народом... Да по-вашему я и не знаю, как надо по-

порядку рассказывать—и себя бы не ввалить, и Машке во обидно, и Стенку не засудили!

— Ну, я вам помогу,—раздобрёд судья.—Вы слыхали ф любви между гражданкой Сизовой и Пыжовым?

— Знамо слыхали!

— А что вы слыхали?

— А что Стенка Машку беспременно испортит. Он у нас давно по девкам идет...

— Так. А как вы их застали? Вот пострадавшая говорит, что гражданин Пыжов принудил ее, насильно овладел ею, хотел жениться, а потом бросил? Что вы можете сказать нам?

— А что говорить-то... Иду я с пестерем в гуменик... а у гуменика Степка с Машкой лежат на соломе... Потом почали барахтаться...

— Хорошо. Когда вы подходили к ним, звала ли Сизова на помощь? Кричала она?

— Здоровово кричала!

— А что она кричала?

— Отойди, кричит, Васька, не мешай! Тебе опосля! Подрастай, знай!

Машка горько захныкала, Пыжов еще ниже наклонил голову, а мальчионка, отирая руки от маликиных глаз, нежно и дрожа голосенком, просил:

— Не сердись, Машуха, правду же велел говорить дяденька: я не при чем тут! Полтинник я те обратно отдам!

Тут вдруг вскочил из-за стола забывчивый ~~солдат~~, вытянулся во фронт багровый, большой, протянул перед собой кулачище и закричал:

— Курва ты, Машка, миня на Стенку смиряла да еще и парнишка сомущать, Ваську! Товарищ судья, оправдываем

Пыжова на чистую, а Машку на черную доску за скромное поведенье!

Судья не успел его схватить за шинель.

— Товарищи милые, — взвыла Машка, садясь на пол и охватывая голову руками, — мне жениха надо, а женихи омманывают! Сперва растерзают, а потом латыты!.. И за-
садитель так омманул, и до нево двое, и Степка последний. Убейте меня, не пойду на черную доску!

ЗА ШКАФОМ

— Виссарион Иванович, я тебя пропину на мою площадь. Сам я жить не стану. Только для отвода глаз иногда ночую у тебя. Пускай домоуправление числить комнату за мной. Я добыл себе квартиренку через союз. Однако, на случай, я это убежище не помешает!

Виссарион Иванович Бугорков до того переходил по ночевкам от одних знакомых к другим. И всем был в тягость. В последнее время не открывали дверей на звонок. И он ночевал на бульварах, чутко дремля по скамейкам. Он нарочно засиживался на службе, похранывая на ворохах разложенных по столу рукописей. И вот пришло освобождение.

Комната была белая, светлая, большая. Виссарион Иванович зажил, забывая недавнее.

Домоуправление год спустя догадалось. Выписали Сергея Антоновича Лохматочкина—настоящего с'емщика, заплатили домоуправлению и тот и этот легкую дань—и переселили тогда Виссариона Ивановича вторым жильцом в комнатушку милиционера Гракова. Стало похуже, а ничего. Снигирь редко почевал дома, а почевал—вместе или чай и дружили. Разлад начался из-за баб. Привел снигирь бабу, вышли, зал'янили... Полночь подкатилась, баба начала раздеваться. Тут Виссарион Иванович не выдержал:

— Слушай, Граков, я протестую! Я не позволю!
Нолаялись немногого. Баба смиренко потянула на себя кофчонку, кинула с вешалки пинель Гракову—и они ушли.
Зачастили к спигирю бабы.. И все смелее и злее он стал.

— Я приведу бабу — и ты веди себе бабу! А то одну. Маруська, согласна?—шумел Граков.

— Обпаковенно!—отвечала Маруська. — Кидай жеребий! Мне вынимать!

Виссарион Иванович не поддавался—и гнал их. Они уже больше не пили вместе чай.

Виссарион Иванович не переставил на середину комнаты свой платяной шкаф, патинул веревочку от окна до стены и заселся запавеской. Граков захочотал. И первую ночь не послушался Виссариона Ивановича.

— Эй Бугорков, — кричал он в темноте, — заткни уши! Полезай под подушку!

И Маруська хохотала, шлепая себя по голому телу.

— Ворочай шкаф на прежнее место—опять твоя наверху. А теперь мы каждый на своей жилплощади. Захочу вскочу, захочу выскочу! Маруська, единоутробная, поворачивай ему нагую спину в смехи!

Виссарион Иванович жаловался в домоуправление. Не помогло.

— Ну к что баба?—сказал председатель рабочей фракции.— Поди, в каждой квартере не одна баба находится. Чудаки! Этак спокою никому не будет, ежли по квартирам лазить станем. Своим согласием соглашайтесь! Мы не облава. Граков в милиции служит. Нам на рабоче-крестьянского пария не рука жалиться! Брось, товарищ Бугорков, благородство! Чево

право! Не женской елемент, чтобы кайфузом заливаться! Не мешай человеку функцию свою тешить по медицинскому закону! И тебе понадобится, он не кыркнет. Дело выеденного яйца не стоит. На собрание общее вопрос поставиць, тебя ж засмеют! Дом у нас простой: ты один из прежнего духовного званья! Тебя ж заголосуют. И прав, а заголосуют: опиум леригии в тебе интернационал под себя подожмет! Ты нашему уму чужестранец и бывший враг!

Виссарион Иванович служил секретарем редакции большого советского журнала. Редактор посмеялся и тоже сказал:

— Безобразие, конечно! Но суды завалены такой ерундой! Тут одного судили. Он возмущенно и обиженно доказывал, что имеет полное право вонять на своей площади!

Виссарион Иванович терпел. Граков прятался от него трезвый, а пьяный приходил всегда сам-друг.

— Я в суд на тебя подам! — уже кричал Бугорков.

— Подавай. Докажи, жеребячью твою в трензеля душу! Сс-с-с-воловы! Лови, лови!

И Граков кидал в шкаф Виссариона Ивановича салоги, лез на него в драку, а баба подступала со стороны, заглядывая к нему за занавеску.

Вдруг Граков остылелся. Пришел домой рано, трезвый походил на своей половине, кашлянул и негромко сказал:

— Товариц Бугорков, разговор имею... Выйди!

И поговорили. Клялся характер переменить. Выпили чайку.

Принцел раз Виссарион Иванович, глядит шкаф задвинут на прежнее место, в угол, вырваны гвоздики, а пестрая занавеска на оконце подвешена. Граков весело угостил его яблоком и дружественно сказал:

— Это я срам мой изничтожил! В глаз мие тыкал. Раз одне мужчины покоятся в комнатушке, бельмо на глаза и не к чему. Совесно самому себя. И глаза у нас на улицу теперь в ситцевых очках. К дьяволу несознательные контры промежду квартерантов. Ну, как, голосуешь?

— Ладно,—буркнул Виссарион Иванович.

Поехал Бугорков вскоре в отпуск. Вернулся через месяц, дернул дверь в комнату, заперто изнутри.

— Ково там дёргаст?—спросила какая-то женщина.

— Это я... Бугорков... Откройте!

— Кто такой Бугорков?

— Жилец. Другой жилец.

— Никаково другого жильца. Я другой жилец. Не туда стучишь. Разомкни глаза-то. Молодожены тут живут Граковы. Ошибился дверям.

Поглядел Виссарион Иванович, а в полутемном коридорчике свален был на бок шкаф его, свернута стоймя кровать и корзинка привязана полотенцем к ней, будто хотели через плечо унести их да не успели. Бугорков осветил коридорчик спичкой. На шкафу лежал под густой пылью портрет его отца, а в серединке, в раздробленном звездой стекле, стоял примус, натекший в рамку желтыми пятнами керосина. Голова отца будто плавала и высовывалась кверху, чтобы не захлебнуться. Виссарион Иванович покраснел, задохнулся, швырнул свой ручной багаж на пол рядом со шкафом...

В то же время сам Граков заколотил в двери:

— Товарищ Бугорков! Слышь, что ли? Извини, брат, а я женился! Крой в другое помещение! С моей женкой ты и разговаривал. Не Маруська, а через закс!

Женщина, громко засмеялась.

— Скарб твой цел — целешенек, — продолжал спигирь. — Я досматривал. Скажи спасибо. Не открываю тебе парошино. Держу в рукаве наган и за себя не ручаюсь, когда характерами разойдемся. По за дверям — обоим сердцам загородка! Не смутьянь, а иди... И к тому же онять извиши! Сам должен понимать теперь стыд моей бабы при лишнем человеке в медовых положениях! Обстроишься, приходи чаевничать!

Виссарион Иванович, негодуя и дрожа, сбил домоуправление.

Председатель рабочей фракции сердился:

— Скандалной вы, товарищ Бугорков, как же вам не совесно разлучать мужа с женой? Можно сказать промеж их третий лежит. Смущение! Других местов у нас нет в доме. Разве вот одна старушка живет в подвале, ветошь подбирает в помойках и мусор разной, да концера у нее без двух аршин полторы сажени? Поди сговорись — и приходи. Мы утеснить не станем вас. И плата на два раза дешевле. Боле на одежду оставаться будет. Старушка хоть и запойная, а ничего, незаметно плохого. Песни поет в заной и пляшет под гармонью. Илемин к ней ломовик ходит, гармонист... обживаетесь! Гракова бередить не пошто!

— Милицию! Милицию! — кричал Виссарион Иванович. — Протокол! Это разбой! Убрайтесь вы к черту с вашей старушкой.

Председатель рабочей фракции освирепел:

— Мошенством в'ехал, а рот открывать! Засужу! Засужу! Партийного пролетария послал ко всем чертям! Не моги, це моги! Кажи свою платформу! Открывай поповское званье! Ониум! Експлататоры трудовых героев! Да во мне,

да во мне ты, буржуазная крысоловка, кровь гнева насосом поднимаешь к роту. Нет тебе жительствования в нашем народно-рабочем жил-товариществе!

Виссарион Иванович простонал, безмолвно поглядел, молча снял пальто, вынул ключ из дверей, швырнул со стола домовые книги, оборвал со стен обивления и вдруг закричал:

— Видите! Видите! Убирайтесь вон из моей комнаты! Я остаюсь здесь! Я не уйду, покуда мне не дадут помещения! Зовите милицию! Мне некуда деваться! Я в тюрьму хочу, я в тюрьму хочу!

И он застучал кулаком по столу:

— Я к Каменеву пойду! К Калинину! Я в большой Солдарком!

Они схватили друг друга за руки и долго стояли вцепленные, упрямые, охрипшие от браны.

Через два часа, после заседания рабочей фракции, с погибшими, с домовой книгой, с портфелями, поднялись к молодоженам. Виссарион Иванович захватил с собой ключ от домоуправления.

— Где такой закон? — вопил Граков. — Я все законы знаю по милиции. Мыслимо ли мужу и жене иметь соглядатая? Я не девку привел на кровать. Вот бумаги у нас: жена и муж по пролетарскому факту! Да я его пристрелить могу, ежели с бабой моей што замечу! Кто мне ее стеречь станет? А? А ежели он насильничает?

— Тыфу! Тыфу! — плевалась молодая. — Што городит, леший! Страмит как! Заткнись, заткнись — не то мелешь!

И она осматривала рыжего и некрасивого Бугоркова. У того дрожали ноги и руки, и был он бледен, как стоявший на столе фарфоровый чайник.

— По долгому размышлению, — твердил председатель рабочей фракции, — хоша Бугорков не товарищ советского строя, а только лишь подмоченный гражданин, буян и скандальный буржуй, жить однако ему в твоей комнате, товарищ Граков. Никто тебе жениться на чужой площади не велел. Ему нету никаких делов один ты али вдвоем. Он тя за свои вещи, как раскидал ты его добро на неполезной площади пола, взгреть может, будто ты его ограбил на большой дороге, али насильно женил на своей бабе! Пускай его безо всяких!

Председатель рабочей фракции повернулся к Виссариону Ивановичу и зло сказал:

— А ты боле не выходи отселева! Тащить будет, упрайся! К тому же он и ответит тогда: тебе вся и его площадь попадет!

— Я не уйду, — крепко сказал Бугорков.

— Как не уйдешь? — заревел Граков. — Да я, да я тебя изувечу! Да мы тебя с бабой моей на трубе повесим! Да мы тебе дно вышибем из некоторого места! Насильственная твоя личность! Нахрапщик! Налетчик! Подгрыза!

— Товарищи, я прошу записать эти слова в протокол, — опять крепко сказал Бугорков.

Потные, усталые, накурив в комнатушке до серого угарного пара, будто в бане безостановочно плескали шайками в зев раскаленной каменки, и она дышала густыми клубами жара, — наконец сладили дело. Граков вышвырнул форточку в окошке и буркнул:

— Пусть лезет! На корню сложем!

И потом угрожающе всмотрелся на Виссариона Ивановича:

— Только не судачить на нас! Дружелюбства не жди!
Враг! Врагу одна честь! Заволакивай свой инвентарь!

Молодая села на кровать и заплакала. Все вышли в коридорчик. Председатель рабочей фракции отобрал от Бугоркова ключ и подал ему руку с усмешкой.

— Без рабочей фракции ничего бы не получилось! — весело воскликнул он. — Не серчай и ты, Граков! Утесненье всему городу назначено, сам знаешь! Спи с бабой на своей рогожке. Хи-хи! Одна баба у вас счастливал: с обоих алименты потянет! Хо-хо!

Виссарион Иванович трудно, потяя и напрягаясь, втаскивал свой шкаф. Молодые повернув ему спины, молча сидели за столом. Граков водил пальцем по протеку от чайника и мазал какие-то мокрые буквы. А когда шкаф с ободранными о косяки боками влез в комнату, снова схватились.

— Куда ты ставишь? — шумел Граков. — Где твоя линия? Она не прежняя. Нас двое, а ты один. Понимаешь рехметику: двоим больше и надо. Сдавай, сдавай еще! Свету, говоришь, нет! Ты нам жизнь загородил, а мы и то молчим! Какой тебе свет холостяку? Было бы где ноги положить — да и здравствуешь!

Долго спорили, меряли шагами, веревкой, откладывали на четверти, выкидывали из-под счета плинтуса, молодая отжимала Виссариона Ивановича крутыми задиристыми боками, отодвигала шкаф... Бугорков уступал. Не могли договориться из-за света... За полночь Граков весело прыгнул на месте:

— Ставь на кривую! Угол тебе — и свету вдоволь! Сла-жено!

Виссарион Иванович патинул веревочку, замахнул на нее запавес и кинулся на кровать. Под теплым и мягким стеганым одеялом — сохранил он его из прошлого — падышав в него распаленным телом тепло, Бугорков улыбался. Была радость, спокойная и ясная, было удовлетворение, было наслаждение лежать на собственной кровати и даже чувствовать се скрипучие и неуютные железные ребра и пролежки.

Граковы о чем-то тихо шептались, будто шуршало за обоями. Виссарион Иванович часто просыпался, отбивая в сновидениях захваченную у него жилиплощадь. И как он не просыпался, он слышал на половине молодых легкую зыбь вздохов, тонкий и сонный свист, шелест одеяла... Будто сама темнота ласкала их, а он ехал с поездом из отпуска и лежал на деревянной вагонной скамье на постной своей подстилке.

Года через два как-то сидели в редакции, и Виссарион Иванович рассказал о своем за-шкафном существовании. Голос у Бугоркова был медлителен и вял. Жил он в маленькой комнатушке за городом — и теперь никто не вспоминал его скромного бытия. Часто он ездил к себе на буферах, на подножке, в перегруженных пригородных поездах, застревал на остановках, хлестало его дождем и метелями на дачных дорогах, но все это казалось столь обыкновенным, что не помнилось и забывалось за порогом.

— Вот мы и сажили втроем, — улыбнулся Виссарион Иванович. — Бабка не глядит. Маленькая, грудастая, крепкая, большегаздая. А злая до последней крайности. Она меня и начала измором. Дня через три первый налет.

— Ты по полу ходишь? — кричит. — Нол чистить надо?

Я за щетку в своих апартаментах.

— Не пыли, не пыли так! Ты не двор подметаешь: Одежду нашу гадишь. Да ты нарочно что ли? Не маши сплеча щеткой! Щетку мочить надо. И от полу не подымай, а елозь мокрым.

Я беспрекословно. Нет, не так! Отняла у меня щетку. Сама стала подметать.

Раз я мыл свое логово. Выглядывает из-за шкафа на застученные мои руки с тряпкой, на пот мой, будто не лицо у меня, а закапанное дождем стекло в раме — и хохочет. Стала делать уборку бабенка, а с меня деньги, в тридорога. Платил.

— Мы тебя выкуrim утеснителя! — кричал Граков. — Мы тебе вытрихнем здоровышико!

И действительно, я начал худеть. Руки дрожат и дергает веко, будто подмигиваю всем.

— Эй ты, моргалка! Шкилет! — язвила баба. — Не греми посудой! Отдыхать не даешь мне!

Восемь месяцев я жил немыслимой и смешной жизнью. За мной охотились. Баба стирала в комнате белье. Наложит груду грязного, — и сверху всякие тряпки, отбросы. Так они и лежали дель-другой. Я отворачиваюсь, шмыгаю за занавеску, она подсмеивает. Приду из редакции, занавеска моя отдернута, а на веревочке развенчено стираное, проветривается. Снимать не дает: визжит и сердится. Воздух в комнатушке, пар, мыло, грязь... Иду я по улице и пахнет прачечной. Злая брала нарочно чужую стирку, руки содраны в кровь, устала, а бьет в одно место. Так дней пять в неделю и отправляла меня. Днем стряпает, к вечеру стирка. Готовили мы допреж того на кухне, нет, не-

ренесла примус в комнату. И закоптели мы трубочистами. Єморкнусь я, а на платке сажа. Делили расходы за электричество, за отопление... Брань, крик, шум... Платил я больше, платил бессмысленно, но только бы не мучили! Пишут мне из дома письма — не доходят. Полгода она их уничтожала, покуда я не догадался переменить адрес на редакцию. Я в домоуправление. А там рукой махнет председатель рабочей фракции:

— Не, не! Мы тут не при чем! Сам заварил, сам и расхлебывай! И не так еще станут хлопотать, выживаючи! Ты им дурной глаз! По фактическому браку ты третий лишний!

Довела меня баба до того, на цыпочках я стал ходить. И нет мне никакого спокойствия. Сижу за шкафом и жду неприятности. Орет баба, поет, наведет Граков товарищей, снигирей, напьются, лезут ко мне за шкаф, грозят револьверами, кидают через занавеску корки, яичную скорлупу. Взбешусь я, выскочу, а они катаются от хохота, животы трут.

Ходил я только почевать в комнатушку, скитался беспризорным по городу в остальное иремя. А запоздаю — не отворят дверей. Я ломиться: на меня вся квартира. Сонные, раздетые выглядывают из дверей и скандалят.

— Мы тебе не сторожа, не дворники! — вопит баба из комнаты. — Ноищи себе других нянек! Полезай в окно!

А жили в четвертом этаже. Ключ я сделал, они на крючок запираются. Ни назад, ни вперед. Выпивши я раз пришел с именин у приятеля. Накипело у меня. В драку. Пронесулся я на полу весь рваный, на лице когти бабенки. Неделю сидел безвыходно. Обрадовались слушаю и сорвали на мне явную и тайную злость.

Но всего невыносимее было ночью. Денные мелочи, их не пересчитаешь, все же были мелочи. Я даже привыкать стал к ним. Баба из себя выходит, а я ничего не отвечаю и усмехаюсь ей в лицо. Ей это зарез. Так бы и впилась в меня зубами.

— Сморчок! Пробник! Слина! Наскученный, наскудный! Нелагожий! Противный! Немилокровой! — бесится баба.

А я ей ласково иногда так отвечаю:

— Бабочка, вередок у вас сядет на губе!

— Тебе, тебе на все места по чирью, супеному чорту! — шипит неразумная.

Ночью было тяжко. Они меня не стеснялись. Граков открыто ласкал свою бабу.

Я еще не ложился, у меня горел огонь, я выходил в коридор по нужде, они возились на моих глазах. Сначали они на кровати, ничем не заставленной от прохода.

— Отвяжись, — смеялась громко баба, — дурачок-то не спит! Поди, весь красный лежит от своей охотки. Не дразни человечка зря! Он монаписк у нас!

И баба в одной рубашонке соскачивала с кровати, заходила ко мне за занавеску. Волосы у нее были распущены. Она, высоко приподымаая рубашку, бралась за свои бока и насмешливо и сердито говорила:

— Ты чего же не дрыхнешь? Нодслушиваешь? Да как ты можешь мешать мужу с женой?

Глупая и хохочущая рожа снигири высовывалась за ее плечом. Я хватал со стола книгу — и они убегали.

Это было дико, ужасно... Я не жаловался, не подавал в суд... Но почему?

Представьте, я с содроганием, с молчаливым страхом и волнением, так месяц на третий, почувствовал к бабе,

несмотря ни на что, глубочайшую нежность. Это сделали наглые супружеские ночи. Сначала я удерживал в себе рвоту, отвращение... А потом началось.

Поняла ли баба, нет, наверное не поняла, по меня, конечно, выдавали мои глаза. Она поливает меня своей нелепой словесностью, а я любуюсь ее мокрыми пухлыми губами, бровями густыми и черными, ласкаю торчком вылезающее из-под платьишко беремя живота. Она к восьмому месяцу была на сносях. Кружится у меня перед глазами маленькая, коренастая грудастая баба. Побледнела я ее глупо, стыдно, борясь с собой... На бабу, иногда, находила усталость. Видимо от тягости. Она тогда каялась.

— Виссарион Иванович,—тихо она тогда мне говорила.— Не серчай на нас: мы порченые. Ты мученик, знаю, только не жить тебе с нами долго! Не ко двору ты нам! Придиши себе угол!

Я однажды размяк да и схвати ее за руку. Еще бы немножко, я выложил бы ей тайное мое. Спасла сама баба. Усталость ее прошла, раз'ярилась она и взревела:

— Помогите! Помогите!

Я из комнаты вон. Граков на меня вечером с кулаками.

— Подлец ты,—говорю,—знаешь свою бабу! Подстроить хотите да не придется! Не уеду, не уеду, до смерти с вами проживу!

Они на меня подали в суд о выселении. Тут баба родила. Кричал беспокойно и плакал ночами мальчишка, орала баба, матерился усталый от постовой службы Граков. Житьишко стало еще хуже. А деваться некуда.

За месяц до суда Граков исчез и не появлялся больше. Я ничего не понимал. Баба меня по прежнему строгала и кричала теперь новое слово:

— Разлучник! Разлучник!

На суде я буквально едва сдерживал слезы и думал, до какой гадости и низости во зле может дойти человек.

Я рассказываю, как жили, а бабенка кричит и трясет ребенком:

— Согрешила я, товарищи, согрешила! Сосплась с ним при живом - муже. Улестил он меня своим благородством! И ребеночек сиротка его. Муж-то меня и бросил теперь. Вон он стоит! Не будет мне теперь прощения.

— Не прощу,—твёрдит Граков.—Не нужна она мне при другом муже. Мы честных баб найдем.

— Признаете вы себя отцом ребенка?—спрашивает у меня судья.—Гражданка Гракова записала его на вас.

— Его, его!—вопит баба.—Все выраженье лица его. Сразу видать не простой ребенок. Антилигентный! Моей кровинки не осталось иролетарской. Всё вытравил. Буржуя родила на свою головушку!

Я при таком подвохе только глазами хлопаю и в беспамятстве машу рукой.

— Вам же,—говорит судья,—будет удобнее. Мы Гракова выселим, вы со своей женой и останетесь одни в комнате.

— И он меня бросит! И он меня бросит!—плачут баба.—Вижу, отказывается, проселок выглядывает для бегства. И как же поднять мне малютку моего без средствов проживательства?

Я овладел своим, отнявшимся было языком, и резко сказал:

— Это, гражданин судья,—беспримерный шантаж! Это все подстроено! Я не признаю себя отцом чужого мне ребенка. Я прошу меня выселить из комнаты.

Баба тут взвыла так, что судья зазвонил в колокольчик:

— О! Побёг, побёг! Товарищ судья, товарищ засидатель, спасите меня вдову при двух муженьках-распутниках! Признай-сь он отцом, заседил бы он меня в комнатушке! Одна я хочу, отринутая, скротать свой век без подлых муниципий! Узнала я, узнала теперече на век свой вековушечка натуру мужичью! На ребеночка мне бы помога—я и управляюсь со слезам своим! Не милы мне оба! Насильно собачку привязать можно, а не человека.

— Я знать не знаю!—твердил Граков.—Спал с ней, конечно, и я, как муж. Ей виднее от кого ребенок. Она передо мной каётся, а настоящего вам отца показывает.

— Ваше последнее слово?—сердится и подозревает меня судья—согласны ли вы признать свое отцовство и оставаться на совместное с ней проживание?

— А вы,—обращается он к Гракову—согласны ли забыть ее ошибку и снова сойтись с ней?

И сказали мы с ним враз:

— Нет.

Суд постановил нас обоих выселить с предоставлением нам жилой площади в доме.

С меня же присудили в добавление алименты.

Вышел я на улицу и захочотал. А Граковы идут впереди вместе и тоже хоочут.

В тот же день я договорился со старухой ветошиницей в подвале и начал перстаскиваться к ней. Шкаф мой свалили в котельное отделение; не влезал на полторы сажен без двух аршин.

— А, что?—дразнила баба меня.—Вытряхнулся? Поцелуй ребеночка-то, сыника-то? За мученья наши плати теперы!

Граков был при этом и колотил себя, издеваясь надо мной, но лбуб.

— Мадама Гракова-Бугоркова! — кривлялся он.— Обзаведись третьим мужем. В подвал не моги, не моги! Дитю показывать надошибо, а не прочее такое, бабское обзаведение!

— Вы, вы...—дрожал я и не мог выговорить.

— Мы, мы, мы,—толкала баба меня в спину—мы сами по себе, а ты дайль нам плати. Детей наших обстраивай.

Так меня и растоптали. У старухи я провел полгода. Это еще труднее рассказать.

Когда я устроился за городом паконец, пошел в башню, увидал десятичные весы, прикинул по нагим обтянутым ребрам свой вес: похудел за полгода я на пятьдесят фунтов.

Алименты я платил год. Потом ребенок умер.

Дико сказать, невероятно, но платил я алименты с удовольствием, даже за три месяца заплатил после его смерти, так самой ей на квартиру и носил.

Баба смеялась, а брала. Снегирь Граков числился на проживании в милиции, в дежурке, а жил, конечно, со своей бабой.

Посмейтесь надо мной, похохочите, ведь я до сих пор пилю к ней глубочайшее, неразделенное чувство! При встречах с Граковым на улицах мы раскуриваем.

Ее же лучше не встречать, чтобы не подымалась горечь с отстоянного дна моих чувств!

А недавно Виссарион Иванович выдавал нам деньги в редакции, вдруг входит маленькая женщина в платке и манит его пальцем... Бугорков встретился легко и радостно. И они ушли в коридорчик. Машинистка нам шепнула:

— Это та... баба-то... Гракова... жена Виссариона Ивановича. Ушла к нему от мужа... Пятый месяц... Ревнивая. Каждый день его со службы встречает. Виссарион Иванович вздумал раз проводить меня... Наткнулись на нее... Она на меня красная глядит, дрожит, зубы шевелятся, а выговорить ничего не может... Повернулась потом и... бегом. Виссарион Иванович вдогонку... Недели две ходил на службу с расцарапанным носом.

В ВАГОНЕ

Мужик, держа над головой длинную корзину из драня, протолкался с площадки в вагон и присел на краешек скамейки. Он поставил корзину к себе на колени, прикрыл ее мешком и снял картуз с мокрого лба. В корзине что-то шевелилось, а потом начало тихонько повизгивать, захрюкало и затыкалось в заскрипевшую дрань.

— Что у вас там? — вскрикнула женщина.

Она пододвинулась недавно на скамейке и дала место мужику, жалея его.

Мужик охотно и готовно ответил:

— Свинка, граждансочка!

И он ласково забурчал, заглядывая под мешок:

— Чушика, чушика, чево ты сренишишься? Помолчи, помолчи, толстобрюхая!

— Какое безобразие! — воскликнула женщина и наклонилась к другому соседу, отжимая его к окну. — Граждане! В вагоне с людьми везут свиней.

Придавленный к окну сосед раздвинул локти и насмешливо кинул женщине:

— Вы бы, товарищ, еще легли на меня! Отодвиньтесь, говорят вам, чего вы меня тискаете? Ну, время было бы ночное, другое дело, а при свете малость неудобно!

Вагон хихикнул.

— Ка-а-к вы смеете? — скраснела женщина. — Это пахальство с вашей стороны!

Сосед спокойно засмеялся.

— Вот те изволь — позволь! Ее сторона меня жмет, а мои стороны вишовата?

— Куда ж мне деваться? — шипела женщина. — С одного боку свинья, с другого вы...

— А кто вам велел этого товарища со свиньей пускаться на скамейку. Скамейка на двоих: вы да я, а тут теперь четверо.

Корзина ковыляла на коленях у мужика. Он, теряясь, торопливо говорил:

— А вы, гражданочка, не бойтесь: она ведь маленькая, не тронет вас. Большие борова, не выложены когда... Место у них такое вырезают... Как и среди людей сконцы есть... Но женскому делу поди и не слыхали!.. И то не трогают... И духу от них никаково нет. Не кормлены нарочно... Не нагадили бы, думал, па людях! Известно, животные! Понимания нет. Хрюкает. Не надо бы хрюкать, а она хрюкает. Уж будьте нокойны, голубушка! Не выскочит. Не бойтесь домашнего зверя — он человека смирнее, самого его хозяина.

Женщина возмущалась все настойчивее и злее.

— С чего вы взяли — боитесь я? Но это возмутительно! Свиньи и люди. Люди и свиньи!

— Совершенно сираведливо! — поддержал старичек напротив. — Совершенно верно! Разнудданное озорство!

— А чем свинья хуже собаки? — кричал кто-то в глуби вагона.

И другой ему вторил:

— Или кошек? В вагоне три собаки и одна кошка.

— В хозяйстве все животные с хозяевами живут. В деревнях в избе ходят и под себя делают па иол.

— Благородные кости показывают, буржуи!

Вагон шумел и кричал.

— Вези, мужик, ну их к шутам!

— Всякую птичку слушать — жития не будет рабочему пролетариату!

— Пахнет да воняет! От самих не меньше несет запахами всякими. Нам, может, сало ихнее хуже свиней разит!

— Я, вон, больной. У меня от ног потом несет, как от нокойника. Меня тоже в вагон не пускать? Проезда лишить? Выдумки одни и привычки от старого режима!

— Гражданочка, гражданочка, — суетился мужик, — чем вам только свинка мешает. Вот, ежли бы она по полу ходила, другое дело. Обнюхивала бы пятаком платынице, башмачки, разрывала кулечки с провизией, а то ведь она под закрытой, не на виду. Только что хрюкает. Так у нее голос такой. Животное. Мы говорим слова, а она те же слова хрюкает.

— Кондуктора! Кондуктора! — надрывалась женщина. — Он не понимает! Ему не понять!

Старичок выговаривал мужику:

— Свинья есть живность, а мы люди! Мы хотим ехать с людьми, а не со свиньями! Ты, милый человек, дурак! У тебя нет разницы между свиньей и человеком!

— Свинью и христос проклял!

— Эй, вы, — мертвая церковь, христа давно забаллотировали!

— Единогласно! С порицанием!

— Не слушай, мужик, не поддавайся. Они у тебя по дешовке свинью жалают купить!

— Свинья нельзя: он бес! — угрюмо сказал татарин - халаточник.

Мужик оправдывался:

— Я разе виновен: от отца восириял свиное дельце. У меня сорок свиней без маюво. Племенные свинки есть. Советска же власть забирает на племя. По восемнадцать пудов боровов вырапциваю!

В корзине, съехавшей с колен, поднялась визготия и оглушающий плач.

— Нам - то што, нам - то наплевать! — засмеялся сосед у окна. — Отвяжись ты, мужик, опотел я от прижимки этой толстой гражданки! Будто кипятильник пынит. Рубаха у меня мокрая.

— Кондуктора! Кондуктора!

Залаяли собаки и рвались к мужику. В вагоне была свалка голосов, криков, махали руками, грозились друг другу, перекидывали вещи с полки на полку, хохотали.

Мужик не выстоял. Он поднял слова на голову корзинку и дружелюбно забормотал женщине:

— Неспроста ты, гражданочка, живешь на свете! Не спроста! Самой себе беспокойство. Нойду уж сдам в багаж. Похрани, мать, мешочек и местечко мое!

Мужик положил на краешек скамейки мешок. Женщина брезгливо отодвинулась.

Скоро, после остановки, мужик вернулся и тихо сел, разглядывая квитанцию. Женщина довольно покосилась на него.

— Ввела ты, гражданочка, в из'ян меня, — сказал мужик. — И до места-то мне осталось полдюжины станций.

Провез бы задарма! А то десять станций только и заработал от твоей горячки.

Женщина с'ехидничала:

— Вашей свинке теперь очень скучно.

Она улыбнулась, зажимая рот белой рукой.

— Нет, не скучно, — тоже ухмыльнулся мужик — их там двое.

ПРОНЬКИНЫ ПРОВОДЫ

Пронька юренаст. У него усы, как кошачьи хвосты. Глаза голубеют. Он охотник. Был он земским пачальником. А отсюда и начинается рассказ о Пронькиных проводах. Стоял и цел мужицкий стан Проньки:

Ой горючико горе,
Мужицкое горе.

Дожил Пронька до выюжных февральских дней — и восстреметал. Проехался тайком по своей вотчине и засел в своем логовище. Усадебка у Проньки стародавняя, прадедовская, в парках, в прудах, в увялых цветниках, стоит на заднем дворе камениная белая баба, а на переднем дворе — две маленьких пущики. Из этих пущек палили в имении дедушки и бабушки. Стадо у Проньки скудельное, жеребцы не первостатейные — пьяница был Пронька. Но сбегают хлебные горы на десять оконных верст колесом, и ржаное золото плавится в Пронькиных руках в зимние мятельные времена.

Ножгли у него летом хуторок в полях и отпахали клин мужики к своей земле. А из города прислал губернский комиссар-друг охрану. Мужики и отступили от усадебки.

Кормил Пронька солдат и глядел из парка, как верховые хорошо и ловко гарцевали с красными бантиками на груди

по захуторским пожарницем, остерегая Пронькины земли. Н. робость февральская прошла.

Ломили мужики в полях, собирая Проньке урожай. Катал он на беговых дрожках по зеленым дорогам, досматривал поваленную в суслоны рожь. Кланились мужики и величали барином.

Пронька укрепился и сел в земскую управу опять со своими за одним зеленым столом. Февраля не было.

Но тут задули октябрьские ветра и стало темно и не-вмоготу в парке.

Из-за белой каменистой бабы глядел раз на зарево в ночь на город, а под утро прискакал на своеем-двоем братец-беглец и просил укрыть. И сказал ему:

— Дома нет! И ничего нет! Отбирают! Большевики одолели Россию! Конец! Проня! Принцел конец!

Походили по парку. Нерешил Пронька братца подальше к тестю за сорок верст в усадебку „Березки“, а сам затаялся, понадеялся на тихость мужичью в его стане.

И вот немного погодя, видит Пронька в'езжают к нему на двор, к пушкам, мужички подводы, слезают мужики цепкой деревней с топорами, ружьями, вилами и дреколием...

Ехнуло сердце у Проньки, забегал по комнатаам, забрался под перину, перенушился в пуху, задрыгал на пружинах... и замер от стука.

Ввалился народ в дом, требовал Проньку. Нашли под периной.

— Почевали здорово!

Залепетал Пронька, прыгая головой и губой.

— Здравствуйте, здравствуйте, братцы! Что скажете? За чём пожаловали?

— За тобой! Давай сбирайся!

— Куда, братцы? Я всегда готов. Слышал, слышал: рабочая и крестьянская заря поднялась над родиной! Приветствую, поздравляю!

— Ладно, ладно! Сбирайся по добру по здорову. Надевай свою спанчу.

— Я... я... я... Вещи у меня... жена... я уеду. Дайте уложить вещи. Что вы, братцы, братцы?

— Окочеливайся!

— От тебе дадим венцю в лоб! Укладесся в мать сырь прорыву!

— Безлюпциной ты теперь! Нажеребячился!

— Онося и жена приедет!

— Да, ну же, говорят тебе, одевайся! Не вводи в соблазн и в охотку!

Мужики затопались и закричали.

— Не надо нам тебя! Поехжай в город! Там с тобой управляйтесь!

Быстро собрался Пронька. Посадили его мужики на лошадь. Кстати кувырнули с крылечка одну пушку: мешала выходить. Молча повезли на станцию. В полях произительно дуло с прадедовских земель. Пронька ехался и поглядывал из-под шапки на вздывавшийся у его плеча сырой и суковатый кол смириного мужика Терехи-кузнеца. Ковал он третьеводии коия Ворона и весело тарабарил с Пронькой о том о сём.

В ушах у Проньки ныл и кололся илач жены; а за глазами стояла она пануганная на террасе в шуховом белом платке. Стерёг ее в стеклянных дверях свой кучер Ермил с вожжами.

Сидел Пронька три часа на станции под охрапой: ожидали поезда. Мужики окружили его зазябшим кружалом, отгоняли любопытных и курили.

— Земской? Земской? В клетке! — слышал Иронька. — Куды сего? В тюрьму? Расстреливать? За-а-службонный человек пулё! Чево рабочий день тратить? Под колесо бы его, братцы, а? Хрусточек один — и нет человека? И памятно на весь стан!

Проныка дрожал, как перышки, поддуваемые ветром, воробья, скакавшего на земле рядом с мужичьими сапогами по закруженю. Проныка видел воробья промеж черных и грязовитых голенищ мужиков, частоколом огородивших узника.

А как подошел поезд, мужики купили Ироньке билет третьего класса, довели до вагона, посадили — и все сразу сказали, глядя неотступными резаками глаз:

— Мотри, к нам ни ногой! Коли приедешь—убьем! А жена одна приедет. Хозяйство сдас и приедет. Тоже привезем, великаню, сюды же! На бабу не обрадеем—стара.. И свои есь пущей ядрености!

И мужики весело гоготнули. Проныка украдкой придерживал скажавшее Вороном озябшее сердце.

Тронулся поезд, метнувшись в окнах мужицкие вилы, подгрозили, громыхнули, как железные колеса под вагоном, голоса, Пронька зажмурился и не мог побороть озноба до города.

В двадцатом году Проинка заведывал государственным случным пунктом. И был он Авициром Петуховым. Бойкий и ловкий, весельчак, знаток случки, подвыпив, он говорил другу своему красному лесничему:

— Каков народ? Какой молодец наш народ? Кладезь, пеничераемый кладезь! Ты подумай, самодержавие свергнуто одним махом! Илья Муромец скинул свою рубаху и, как вшей, отряс с себя тунеядцев! Но какая душа, какая удивительная душа у этого народа? Я вот слышал. Был один земский начальник. Можно сказать — стражник самодержавия. Бывал строг, конечно, при исполнении служебных обязанностей. У другого народа он мог бы стать объектом ненависти. Но ведь эти славные, незлобивые и великодушные дети, проводили его в октябрьские дни... Воктябрьские дни! Ты смеряй глубину, океан этой народной души, проводили со слезами на глазах, при всем народе, едва паразит удержал от колокольного звона, поднесли икону, Пантелеймона Великомученика. Символ-то какой, символ-то? Проводили до вокзала. Ты скажешь вредная слабость, классовая отсталость, его гадину нужно было четвертовать, головой вниз зарыть живьем у помойки за народные бедствия! Я согласен с тобой. У меня бы по дрогнула рука кинуть его, как на达尔, под конята моих неспокойных жеребцов! Сам бы я размозжил ему череп запором от конюнции! Дерево бы на него уронил с верхнего венца на срубе! А все же удивительно трогательно! Великий народ! Какое высокое благородство сидит в нашем мужике! Я знал этого человека. Потом его все же в городе, ах, горожанин тот жестокосерд и мстителен, расстреляла Чека за укрывательство своего звания и за перемену фамилии. Я заходил к нему. Конечно, и я и не подозревал, с кем имею дело. Он был мирным советским тружеником. Любопытствуя, я заходил к нему посмотреть икону. Он меня, конечно, обманул, заявив, что она как-то случайно у него осталась от того мифического

земского начальника. А он сам и был, как выяснилось потом, хозяином сего деревенского образа кротости. Мне было прямо иловко перед этими добряками: встаки, знаешь, ценная старинная икона, они на нее собирали свои трудовые крохи! Да, да, я был до слез растроган! Можно, можно еще жить на свете принадлежа к такому цароду! Великий, неподражаемый царод!

Пронька пьяно шарахнулся с лесничим по казенному конно- заводству и показывал глазами на проходивших мужиков, восторженно крича:

— Велика-а-ны!

Мужики невесело улыбались и скидывали шапки, а Пронька воинил:

— Эй, ты, правительство, рабоче-крестьянское правительство, дай я тебя облобызаю!

Он лез целоваться с мужиками, с другом своим красным лесничим.

1926

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Воры 12-го полка	3
Аинутика	10
Кинос'емщики.	18
Выдали.	24
За шкафом	28
В вагоне	45
Пронькины проводы	50



Цена 15 коп.

18

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

Еженедельно ОДНА книжка:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год—5 р.

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

Москва, Тверской бульвар, д. 26, телефон. 5-51-69.

Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“.